Ю. А. М. Сахновская. Т. 1. Рассказы и «зарисовки»

XVIII в. · XIX в. · XX в. · Р · ☽ ☾ ☰

М. Е. Салтыков-Щедрин · Собр. соч. в 20 т. · 1

Сатирикон · Сатирикон · Сатирикон ·

нашу сведения по этой части. Вопрос о том, можно ли сделать из невежественных людей какое-нибудь употребительное, остается открытым. Мы не делаем в этом отношении никакого различия между ними, не неизвожности определить, на что способна умственная разнитость. Наше народное образование находится в зачаточном положении, наше высшее образование фиктивное: существует одно мудрое, при таком положении дела всякое суждение, что не может существовать не верного понятия о существенных вещей, не твердых в живых убеждений. Одно убеждение, по-видимому, сложилось прочно — это убеждение, что знание есть расширение бунтов, но если мы вглядимся в дело ближе, то увидим, что даже и это убеждение наносное. Упадные теоретики проповедуют эту фаиз-ветхую к чужих слов. Они слышали, что где-то, в тридевятом царстве, Иван, неизвестно где, обучался, бы ему не отдали Петра, и в ужасе при одной мысли, что знание возможно: вот каковое просвещение! научили человека грамоте, а он на большую дорогу пошел! Но и у этой теории нет твердого, реального основания, потому что, не обладая самым фактом просвещения, мы не можем даже судить, какая в нем заключается сила: разрушная или созидая.

Такое положение могло бы, впрочем, иметь свои удобства, если отнестись к нему откровенно, без предубеждений. Если нет просвещения, то надобно воздержать его; если никаз до того редко, что всякое известное об «открытии нового рассадника первых четырех правил арифметики» заставляет отрицать удивление глаза, то надобно бутурить так, чтобы подобные известия не удивляли, а казались обыденными. Говорят, что этого трудно достигнуть по недостатку материальных средств; но возражение это в значительной степени утрачет свою силу, ежли мы сообразим, сколько употребляется материальных средств на устранение тех недоразумений, которые приводит за собой отсутствие просвещения. В военном отношении просвещение наполовину заменяет шасспо; на поприще гражданских добулестей — оно делает почти ненужными так называемые расходы внимания. Стало быть, подвинши умственный уровень мас, можно, без вреда для вониственных управлений, уменьшить наполовину комплект ружей и пушек, обе остающиеся половины будет палить целесообразнее. Затем можно будет также наполовину сократить армию чиновников, так как последним даже палить не будет представить надобности. Сколько получится экономии от этих сокращений,

можно судить уже по тому, что если бы, например, уменьшить наполовину только число полицейских управлений (по поспешности расходов на этот предмет в первой половине прошлаго, на исключением Финляндии, исчислялся около шести с половиной миллионов рублей), то получится крупная цифра с лишком в три миллиона рублей. Какую массу людей можно напитать просвещением на эту сумму? А там войдут еще дешевые надзиратели, чиновники для составления, чиновники для перепоручения, смотрителя, председателя и даже чуть-чуть не губернаторы! И всего этого мы лишимся, но всем это мы будем чувствовать надобности, как только нас коснется благодать просвещения! Какая волшебная перспектива! Какая масса дешев во всех отношениях, какие домыслы на всех сторон — и так тебе беспорядка.

Напротив, порядка будет еще больше, потому что пример Германии осязательно доказывает, что непосредственный результат просвещения совсем не бывает, а расположение читать греческих классиков в подзимнице.

Не попробовать ли?

Есть еще и третий вопрос, разрешение которого должно значительно подвинуться вперед вследствие откровенной настоящей войны. Это вопрос об отношении к ходе патриотизма людей, не принимающих участия в делах своей страны.

Наиболее распространенная в теории, определяющих отношения отдельного человека к интересам страны, имеет данное очень простое и краткое изречение — «не тронь дедов». Все, что ни видится кругом, все очерчено чертой, пересушить за которую — значит обнаружить полное отсутствие всякаго достоинства. В громадных переходах, разделяющих вселенную, мечется мириады сдвиги, из которых каждая для каждой составляет запоходную область. Чем меньше сиеи между людьми, тем меньше столкновений. Тем лише. Тишина внутри и непрерывность извне — вот идеал страны сильной и благоденствующей. Вот защитою этой тишины и непрерывности является какое-то дело, но делается как-то сами собой, как будто над сомнящем разрозненных единиц, присловляющим себе название общества, пятит совсем независимая сила, жующая собственною жизнью и не ведающая ниы усовий, кроме тех, которые заключены в ней самой. Это сила, которая устроит и дисциплинирует тишину. С изумительною настойчивостью последующая сила ее и в конце концов действительно достигает того, что дедов «не тронь дедов» не

только становится внешним правилом, определяющим человеческие действия, но входит в нравы. Задачи администрации упрощаются до бесконечности, наступает минуты, когда начинает даже казаться, что нечем управлять; перед глазами волнуется мощ людей, и хотя эти люди не связаны между собой никакой общей идеей, но все их движения поражают точностью, все прелины и отлины совершается с правильностью, которой может позавидовать бесоотчетная правильность стрелок. Это чудесное действие дисциплины.

Этим все сказано. Дисциплина творит тишину, тишина обеспечивает дисциплину. Это замкнутый круг, в который не входит иных элементов, кроме взаимного творчества дисциплины и тишины. Таковы требования теории, и они, без сомнения, достигали бы известных целей, если бы на практическое применение была возможна та же математическая точность, какая предполагается теорией. Но слабая сторона теории «не тронь дедов» именно в том и заключается, что практическое применение не только не отвечает ожиданиям теоретиков, но на каждом шагу раскрывает такого рода опасности, к которым может остаться неучастливым разве силой и безусловной верою.

Самый грубый практический способ устранения человека от деятельного участия в делах страны, к которому всего охотнее прибегали теоретики тишины, заключается в насильственном обречении массы в жертву невежественности и ослеплению. Но порядок такого рода не средство действительно кажется неразумным, потому что ведь и в самом деле трудно представить себе другую силу, которая могла бы так веселно гарантировать равнодушие к общественным интересам, как гарантирует невежественность и бедность. Но, в сущности, заключение это все-таки не бодро, как отвлеченное построение. Начать с того, что даже при систематическом распространении невежества неизвожно обезлишить человека до такой степени, чтобы он сделался скотом весь, без остатка. Да и не всегда выгодно окончательно обезлишить человека, ибо даже в сферу самой грубой исполнительности встречается множество случаев, когда необходимо услуги не скотов, а людей. Затем, или далее, мы встречаемся еще с одною случайностью, которая тоже не свидетельствует в пользу невежественности, как гаранти общественной тишины. Не подлежит сомнению, что всякий умственный уровень, от высшего до низшего, имеет минуты, когда он выбивается из обычной колеи и предъявляет требования, выходящие из рада обыкновенных, а потому и не легко предусмотренные. Очень возможно, что эти уклонения невежательны, что необходимо всячески их отращать и

отдадить, но так как все-таки факт существует, то было бы непростительным легомысленно не принимать его в расчет. Сохраняется в силе сомнительность и в отношении к фактам, которые в форме «ежли мигнет — а то ли, когда он исходит из сферы, стоящей на высшем уровне, или в том, когда его создает среда, находящаяся под исключительным давлением непосредственного чувства?

Это вопрос очень серьезный, и от разрешения его бесспорно зависит будущие судьбы теории, имеющей данном «не тронь дедов». Что, сказав сказанное, что соответствие между равнодушием к общественным интересам и тишиною, которыми мы так охотно задаемся, есть только приурочное соответствие? Что, ежели для уничтожения этого приурока достаточно одного случайного движения невежественной массы, — движения тем менее отрицаемых, что бывает мы всегда свидетелями, и потому и не легко предусмотренных. Очень возможно, что это уклонения невежательны, что необходимо всячески их отращать и

постыдным результатом может принести неразмокрость в распределении благ, которые приносит с собой высокая степень умственного развития. Если центры настолько богаты просвещением, что могут, по справедливости, считать себя стоящими на высоте, которая дает им и возможность и даже и затеи поинтересоваться и общественными жизнь страны тоиятся под ними обезлинивающаго ее фона, то это значит, что тут существует глубокий перерыв, которого не может наполнить даже богатое содержание центров. Даже такие существенные вытоки, как, например, народное представительство, утрачивает все значение, благодаря изнуряющему влиянию централизации. Вопросы, разрабатываемые народным представительством, могут получать очень верное разрешение, но для чаз все-таки будут вопросы сторонние, ниньзо их не затрогивающие. Нет посредственных живых звеньев, которые служили бы проводниками и разъяснителями работы, совершающейся в центрах, — следовательно, не может быть и жизненного ее применения. Вместо этих живых звеньев посредником является армия чиновников, которая действует, конечно, не в смысле предлажиания общих вопросов и требований жизни, а совершенно обратно, в смысле предлажиания жизни и требований общих вопросов. Отданная в жертву этим приглаживаниям, масса или загрубевает, или же претерсует непрерывным родом волнений и беспокойств. И таким образом равнодушие, на которое возлагалось так много надежд, не только перестает быть встоичным тишину, но становится творческою силой, производящею ее нарушения.

Но пусть будет так. Пускай высказанные выше доводы останутся неубедительными для теоретиков тишины во что бы то ни стало. При чем же тут, однако ж, патриотизм? каким образом вяжется он с общественным индифферентизмом? когда он требуется? и всегда ли оно необходимо проявлять себя?

В том-то и дело, что тут нет и не может быть никакой связи, потому что нельзя ограничить индифферентизм исключительно одною сферою жизни и остановить его нигдзь во все остальные сферы. Нельзя сказать человеку: «вот здесь, в сфере внутренних интересов, ты будешь индифферентен и сидеть инщшатной, а вот там, в сфере внешней безопасности, ты обязываешься быть пламенным и изобретать все, что нужно на страх врагаю». Это невозможно, во-первых, потому, что внутренние интересы всегда ближе касаются человека, и, во-вторых, потому, что для инщшатины не с неба сваливается, а развивается воспитанием и практикою. Нельзя передвигать его из одной сферы в другую, смотри по надобности, особенно

из такой сферы, где он встречает применение бесбернужные, в такую, где предстоит применять его только, так сказать, в табельные дни. Отсутствие повседневной работы ужа мало-помалу доводит способности человека до нуля: а что он найдет на заднту отечества, когда в этой заднте встретится надобность? И где он найдет элементы для нетушаемо? Он не сидячая и ни внутри; он ничего не знает; он игнорирует даже ту «вещь», во имя которой ему приказится расчать энтузиазм

Но все это соображения никоаго не смущают теоретиков молчания, и причина тому очень простая. В глубине души патриотизм столько же протиен им, как и вообще всякое проявление человеческой самодеятельности, и только свидетельство истории (и то в таких примерах, как Иоанна д'Арк, но отнюдь не в таких, как Вильгельм Телль) заставляет их признавать его явлением допустимым в исключительных случаях. Поэтому выражения патриотизма хотя и допускаются, но при таких условиях, осуществление которых возможно только с помощью теории еще более искусственной, нежели изложенная выше теория полусмертного водворения безмолвия.

И тут бесспаительность и ярокдженность служат исходным пунктом для дальнейших построений. Принятые однажды на веру, они облегчают дело настолько, что незаинсисмость патриотизма от практических применений кажется истинно вполне доказанною и неопровержимою. Патриотизм проявлен, следовательно, он всегда проявлен, следовательно, его можно вызвать на свет по одному минуту, или хотя и нет его надобности. Вот краткий, но немудрый подлеж, которым руководятся теоретики народного обеспечения. Все равно как графин с водкой. Покуда нет в воде надобности, графин стоит в шкапу; как только есть надобность, графин стаивется на стол, наливается рюмка или две, а затем водка опять препровождается в шкап, а рюмки выполаскиваются и вытираются, чтоб не воняли.

Такой взгляд представляет бы несомненные удобства, если б можно было отыскать в человеческом организме такой орган, который исключительно занимался бы пристанодержательством патриотизма. Тогда представлялась бы возможность действовать по усмотрению: нужен патриотизм — приподнял клапан и выпустил пару; не нужен — закрыл краан и спи спокойно без патриотизма. Но такого органа до сих пор еще не открыто.

Настоящая война практически доказала, что патриотизм более, нежели всякое другое проявление человеческого духа,

находится в зависимости от воспитания и навыка. До сих пор приходилось только догадываться в справедливости той истины, в притом догадываться по фактам изолированным и недостаточно ясным. Понятно, что и результаты таких догадок были недостаточны. Не не могло не порадовать сповойствие и чувство собственного достоинства, которое приносит с собой, например, англичанин или американец всуду, где бы он ни появился, но мы прислмаемся тут к внутренним мотивам особенностей расы и условиваемся на этом обьяснении. Всякая раса, по принятому нами предположению, снабжена особою этикетаю, на выполнение которой она осуждена самою судьбой. Одни нарды должен быть от природы воспламенителен и язвителен, другой — от природы тут и сейчас и в ожидании воспитания наша, третий — от природы сонлив и не склонен ни к каким изобретениям. Но такая замкнутость расовых особенностей слишком противоречит идее человеческого прогресса, чтобы можно было примириться с нею. Только комедия, да и то плохая, может представить опевреднную ханственность, отвержденное тупоумие или сумасшедствие, в жизни же все это кажется точно так же подлежит замене разложения, как и всякое другое жизненное явление. Влияние расовых особенностей и известных случаев ослабевает и уступает место влиянию воспитания. Недостаток этого последнего обьясняет все проявления дикого фанатизма с одной стороны и первоцвитной приниженности с другой. И ханственность, и приниженность сдвигаются с своего места, когда, что человек, обладающий одним из этих качеств, ниикда не ощущал себя деятельным членом общества, а следовательно, никогда не мог возвыситься до идеи, что общество, незаинсимо от своей различности или первоцвитности, есть органиен настоящее сознание, что выдержит всякую правду и с пренебрежением отнесется к ханственности и приниженности. Если этот субъект имеет способность раздражаться наиеиною идеей, то тем хуже для него. Это доказает только, что он во всякую минуту способен сделать себе обеждение, свободное от какой бы то ни было внутренней работы. Это паритет гораздо более опасного свойства, нежели даже другой паритет из соперника, который своим сверменоуодерг до того, что ниотоне назовет себя курицыным сыном, нежели принзет свою национальность. Чтобы достичь этой степени сверменоуодерга, нужно очень многое: быть может, нужна даже инвалидность. Но всякое случае, эти тут, не другой не могут приводить себя патриотами по той простой причине, что ни у того, ни у другого нет органической связи с тем, что они называют своим отечеством,

Франция первая сообщила силу достоверности этому факту, доесле иневимому только характер догадки. Она практически доказала, на что была способна централизация конца XVIII столетия и на что она сделалась способною теперь, поскольку двадцать лет последующих времен и ряда пагаших людей. В конце концов оказывается, что, как ни противоположно было действие этой силы в том и другом случае, все-таки оно не снимает с нее характера явления противоречественного, которое вредными результатами превосходит даже всякое иное поглощение. Оказалось положение умных сфер времени, централизация отражает самые корни этой жизни. Фаиты фанатизма и апатии, которые доносятся до нас с театра войны, — все это не что иное, как последствие того стройного административного механизма, которым гордилась Франция и которому удивлялся весь мир. Сегодня сознтают живаем человека и чуть-чуть не издевтают на виеслиему представителем страны за то, что он выкладывает свободные, а завтра — уходит с дорогой, которая ведет к ненавистным действий тонна гард-мобилей, обьявляя, что им лучше дома, чем на войне. Ежели, что такого рода проявления могут исходить только из этой среды, которая не имеет всякого понятия ни об отечестве, ни о долге и способна подчиняться лишь паническим побуждениям трусливеиного страха и не менее трусливеиных надежд.

Но ежели Франция так неожиданно попала на себе в пространственно ограниченное, что она вынесет из этого исчезнет, прочитывать, не пойдет ли она на сосединенные штрамотиеры и мекленбурцев. Положение Франции имеет ту выгоду, что ее недуги слишком ярко бросаются в глаза, что всякий может было сдуть их и удостоверить на зоркости глаз, вооруженных ежемесячно. Нехватка на свое обеспечение, это все-таки народ, вырабатывавший Париж, а в нем и ту арену политических и общественных вопросов, на которую один за другим выступают все члены человеческой семьи. Для такого народа устранение причин, порождающих недуги, обязательно, а притом не частное или изнуренное, а коренное, немедленное. Мекленбурцы не отличаются этой обязанности; суди по прежним примерам, они думают, что и с неудачами можно жить спокойно, если имеется ретр-бленты, а на почте не вскрывают посылок. Их войска побывает в настоящую минуту лумшопом, и вот они сегодня вынести из этого лестные для себя заключения. Мы, дескать, и образованнее, и чиновнимо у нас честнее, и свободы больше — а все что нам пожалуйно? Очевидно, однако ж, что

тут упускается из вида, что то положение вещей, которое во Франции было лишь плодом исключительного недоразумения, для многих стран, не стоть взыскательных, есть положение хроническое, а два дуэта даже желательное.

Во всяком случае, не может подлежать сомнению, что громадные события, совершающиеся на наших глазах, будут обильны не менее громадными результатами. И галльской пепхуз, наверно, популяризирует эти результаты, и притом не сумарано, а во всей прискорбной их полноте.

М.Е. Салтыков-Щедрин. Признаки времени. Сказ событий // Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений в 20 томах. М.: Художественная литература, 1969. Т. 7. С. 162—184.
© Электронная публикация — РВК, 2000—2022. Версия 2.0 от 30 марта 2017 г.